



ШАБЛОН
МАЛЕНЬКОЙ
НАДЕЖДЫ

Александра Деленив

Шаблон маленькой Надежды

«Автор»

2026

Деленив А.

Шаблон маленькой Надежды / А. Деленив — «Автор», 2026

Лера — необычная художница. Её картины умеют оживать, и весь приморский городок знает: если потерял любимую вещь, заблудился в себе или ищешь ответ — иди к ней. Она нарисует луг, где спряталась чья-то курица, или старый дуб, под корнями которого лежит обручальное кольцо. Её дар — возвращать утраченное. Но есть запрет, которого она никогда не нарушала: нельзя рисовать мертвых людей. Нельзя воскрешать. Пока однажды на пороге её мастерской не появляется молодой человек. Он просит о невозможном — вернуть к жизни младшего брата, которого не сумел спасти. Лера отказывается. И тогда в порыве отчаяния он проклиняет её кисть, её краски и весь её дар. На следующее утро девушка замечает, что один цвет исчез с её палитры. А вместе с ним — из самого мира. С каждым днём красок становится всё меньше, и люди вокруг перестают помнить, что небо когда-то было голубым, а трава — зелёной. Лера понимает: единственный способ остановить проклятье — найти того незнакомца и помочь ему залечить душевную рану.

© Деленив А., 2026

© Автор, 2026

Александра Деленив

Шаблон маленькой Надежды

«Не верьте тем, кто говорит, что небо — голубое, а трава — зелёная. Эти люди никогда не видели мир по-настоящему. Небо бывает фиолетовым на рассвете, трава — почти чёрной в сумерках, а человеческая душа и вовсе мерцает тысячью оттенков, для которых ещё не придумали названий. Я всю жизнь пытался нарисовать душу — и понял: она не на холсте. Она в том, кто смотрит. Тот, кто носит в себе свет, видит свет везде. Тот, кто носит тьму, — даже солнце ему кажется серым. Самая большая магия — не краски. Самая большая магия — выбор: каким цветом ты раскрасишь этот мир сегодня».

— Алистер Ван Грей, художник-визионер (1841–1901)

Глава 1. Краски, что помнят свет.

В маленьком городе у моря, где улочки пахли солью и старыми рыбацкими сетями, жила девушка по имени Лера. Она была художницей. Не из тех, что выставляются в галереях и дают интервью о концептуальном искусстве. Её дар был иным — тихим, древним и немного пугающим даже для неё самой.

Всё началось в детстве, когда она нарисовала бабочку-капустницу на клочке бумаги. Едва она дорисовала усик, как над листом запорхало белое облачко, а на обоях осталось мокрое пятно от акварели. Бабочка, сделав круг под люстрой, вылетела в приоткрытую форточку, а маленькая Лера осталась стоять с кисточкой в руке и широко распахнутыми глазами.

С тех пор город знал: если случилась беда, пропажа или просто щемит сердце от неизвестности — иди к Лере.

Первой была баба Нюра с окраинной улицы. Её любимая курица Пеструшка, несущая яйца с двойным желтком, пропала уже три дня как. Старушка убивалась так, будто потеряла не птицу, а члена семьи. Лера молча выслушала её причитания, взяла плотный лист бумаги и принялась за работу. Она не знала, где находится курица. Она просто думала о ней, вспоминала её смешную походку и то, как Пеструшка любила клевать клевер. Она нарисовала широкий луг за старыми гаражами, кривую иву, расколотую молнией, и маленький родник, о существовании которого знали только старожилы.

Когда рисунок был готов, баба Нюра ахнула: «Так это же у Чёртова ручья! Как я сама не догадалась!». Через час она вернулась, прижимая к груди счастливо кудахтающую Пеструшку, а в другой руке держала корзинку с десятком яиц для Леры.

В другой раз прибежал мальчишка-почтальон. Он потерял сумку с письмами и пенсиями, и ему грозил не только позор, но и тюрьма. Лера нарисовала куст жасмина у старой водонапорной башни и торчащий из-под корней ремешок. Сумку нашли. Потом была девушка, потерявшая обручальное кольцо в день свадьбы — Лера набросала канализационный сток у цветочного магазина, и кольцо, закатившееся в щель, засияло на солнце.

Слава о её даре не сделала Леру ни богатой, ни заносчивой. Она жила в мансарде, залитой светом, среди мольбертов и тюбиков с краской, и брала плату ровно столько, сколько нужно было на новые кисти и холсты. Её картины были не просто окнами в реальность, они были нитями, связывающими потерянное и потерявших.

Она знала правило — единственное, но нерушимое. Она чувствовала его кожей, слышала в редких снах, где с ней говорили не то предки, не то древние духи искусства. Нельзя рисовать людей живыми. Нельзя воскрешать. Жизнь — это мазок, который кладет только Создатель, и пытаться подделать его — значит сломать кисть навсегда.

Этот завет был прост, и Лера ни разу не приближалась к его границе. Пока однажды осенним вечером, когда море штормило, а ветер рвал ставни, в её дверь не постучали.

Он стоял на пороге — высокий, сутулый, в мокрой от дождя куртке. С его темных волос стекали капли, но лицо было сухим, словно высохшим изнутри. Глаза — цвета штормового неба — смотрели на Леру с такой болью и требованием, что она отступила на шаг.

— Вы — та самая художница? — голос его был тихим, но с металлическим звоном. — Мне нужна ваша помощь. Говорят, вы можете найти что угодно.

— Я могу нарисовать то, что существует, — осторожно ответила Лера, пропуская его в мастерскую. — Кого вы потеряли?

Парень замер у мольберта, глядя на неоконченный морской пейзаж. Он молчал так долго, что Лера уже решила, что он не ответит.

— Брата, — выдохнул он наконец, и слово это упало, как камень в глубокий колодец. — Моего младшего брата. Его зовут... звали Даня. Ему было двенадцать.

Внутри у Леры всё оборвалось. Она сразу всё поняла.

— Я не могу найти его, — прошептала она. — Я рисую только то, что есть в этом мире. Пропавшую вещь. Заблудившееся животное. Но не...

— Я знаю, что вы можете другое! — резко перебил он, и в его глазах вспыхнул опасный огонь. — Вы можете оживлять свои картины. Я слышал историю о бабочке. Я знаю, что вы рисуете — и это становится явью. Нарисуйте его. Живым.

— Нет! — выкрикнула Лера, отступая к окну. — Вы не понимаете, о чем просите. Это не поиск. Это воскрешение. На это — запрет. Я не могу и не буду этого делать.

— Не можете или не хотите?! — он шагнул к ней, сжимая кулаки. — Вы даже не пытаетесь! Вы просто рисуете своих куриц и колечки, а когда человек просит о настоящем чуде, вы отказываете? Мы купались в море! Его унесло течением, а я... я не успел! Я должен был его спасти, это моя вина! А вы со своим даром просто сидите здесь и не хотите исправить это?!

— Смерть нельзя исправить, как неудачный набросок! — слезы выступили у Леры на глазах. — Если я попытаюсь нарисовать вашего брата, я не знаю, что именно обретет плоть! Возможно, это будет не он, а что-то жуткое, копия без души! Или мой дар исчезнет, и я больше никому не смогу помочь! Уходите, прошу вас!

Парень застыл. Воздух в мастерской стал ледяным и плотным. Он посмотрел на свои ладони, потом на палитру Леры, на которой смешались яркие, живые цвета, и усмехнулся страшной, кривой усмешкой.

— Вы правы, — сказал он медленно, и голос его был пропитан не горем, а концентрированной, черной злобой. — Вы не можете. Вы просто не знаете, что такое — терять. Вы, со своими красками, живете в мире, который можно исправить мазком. А есть миры, где ничего нельзя исправить. И вы познаете это на себе.

Он подошел к её рабочему столу, где стояли открытые баночки с пигментами и лежали любимые кисти из колонка, и занес над ними руку. Лера хотела закричать, броситься ему наперез, но не смогла пошевелиться, скованная ужасом его слов и взгляда.

— Будь проклята твоя кисть. Будь проклят твой мольберт. И будь прокляты твои краски, — произнес он глухо, и каждое слово звенело, как удар молота по наковальне. — Ты узнаешь, каково это — видеть, как мир теряет свои цвета и становится черно-белым, как моя жизнь. Ты будешь терять их один за другим, пока не поможешь мне обрести покой. Прощай.

Он не тронул её вещей. Он просто повернулся и вышел, хлопнув дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка. Лера, дрожа всем телом, опустилась на колени. Ей казалось, что это просто слова, истерика обезумевшего от горя человека.

Но ночью ей приснился сон.

Она стояла посреди своей мастерской, но всё было серым. Перед ней, на мольберте, сидела огромная черная птица с глазами, горящими как угли. Она открыла клюв, и голос её был шелестом сухих листьев:

— Твоя палитра — это мир. Мир в душе другого — это твоя палитра. Каждый день, на рассвете, ты будешь терять один цвет. Сначала ты просто не сможешь его достать. Потом ты поймешь, что он исчез из мира. А потом люди забудут, что он был. Голубизна неба, зелень травы, золото солнца — всё уйдет. Ты будешь смотреть на серость и помнить, какой она была. Ты будешь одна, кто помнит. И когда ты потеряешь последний цвет, проклятье станет вечным. Твоя кисть засохнет, а мир вокруг станет траурной гравюрой. Путь к спасению один: тот, кто проклял тебя, должен вновь обрести мир в душе. Сделай его палитру снова полной — и вернешь свою.

Лера проснулась в холодном поту. За окном занимался серый, промозглый рассвет. Первое, что она сделала — бросилась к мольберту. Она выдавила на палитру каплю кармина, чтобы нарисовать розу. Но краска, коснувшись бумаги, стала пеплом. Цвет исчез.

Проклятье началось. И вместе с красным цветом из её жизни ушла любовь, которую она когда-то испытывала, глядя на закат. Осталась лишь глухая, ноющая боль и решимость найти незнакомца, имя которого она даже не спросила.

Глава 2. Эхо без радости.

Лера не помнила, сколько просидела на полу после ухода незнакомца. Час? Два? Время стало вязким, как загустевшая масляная краска. Она смотрела на свои руки — те самые, что ещё утром держали кисть уверенно и легко, — и не узнавала их. Пальцы дрожали. Не от холода, а от пустоты, которая поселилась где-то под рёбрами и медленно расплзалась по телу, как трещина по фарфоровой чашке.

Сон с чёрной птицей всё ещё стоял перед глазами. Слова звучали в ушах, повторяясь, как заезженная пластинка: «Ты будешь терять их один за другим». Она заставила себя встать, подошла к окну и отдернула штору.

Мир за стеклом был прежним — и всё-таки другим.

Солнце висело над морем, но его свет казался каким-то... стерильным. Словно кто-то выкрутил лампочку на полную мощность, но убрал из неё всё тепло. Лера прищурилась, пытаясь понять, что не так, и внезапно осознала: закат. Закат был серым. Не просто бледным или пасмурным — а именно серым, как старая газета, как пепел, как мокрая штукатурка.

— Красный, — прошептала она. — Ты говорила про красный.

Птица во сне сказала правду. Первым ушёл красный — цвет жизни, любви, крови. Цвет, без которого мир не просто тускнеет, а перестаёт быть живым. Лера перевела взгляд на свою руку, где ещё вчера красовалась тонкая царапина от кошачьих когтей. Царапина была на месте, но кровь под кожей стала... никакой. Ни розовой, ни бледной. Просто отсутствующей.

Она бросилась к мольберту, схватила тюбик с кармином, выдавила на палитру. Краска легла ярким, сочным пятном — слава богу, тюбик ещё помнил, каким должен быть цвет. Лера обмакнула кисть, провела по бумаге — и вскрикнула.

Мазок получился серым.

Не тускло-красным, не бледно-розовым. Серым. Как зола, как пыль, как ничто. Она провела ещё раз, надавила сильнее, добавила воды, потом масла — бесполезно. Пигмент ложился на бумагу и мгновенно умирал, превращаясь в грязное месиво без намёка на теплоту.

— Нет, нет, нет, пожалуйста, — зашептала Лера, хватаясь за другой тюбик — киноварь, потом за алый, потом за краплак. Все они вели себя одинаково: на палитре сияли, на бумаге умирали.

Она опустила кисть и заплакала. Слезы катились по щекам, и она почему-то подумала: интересно, они ещё солёные? Или проклятие добралось и до слёз?

К вечеру Лера собралась с силами. Первый порыв — запереться в мастерской и никуда не выходить — она подавила. Страх был сильным, но ещё сильнее было желание понять, что происходит. Если проклятие работает так, как сказала птица, то нужно торопиться. Нужно найти того парня.

Она накинула серый кардиган — и одёрнула себя: серый? Разве он не был синим? Или зелёным? Она не могла вспомнить. Цвет уже начал вымываться из памяти, как и предсказывал сон. Ещё немного, и она вообще забудет, что кардиган был каким-то иным.

Город встретил её привычным шумом: стучали ставни, кричали чайки, где-то в порту гудел катер. Но что-то было не так. Лера шла по брусчатой мостовой, вглядываясь в лица прохожих, и не сразу поняла, что именно её беспокоит. А когда поняла — остановилась как вкопанная.

Губы.

У всех людей, идущих мимо, губы были серыми. Не бледными, не обветренными — а именно серыми, словно присыпанными пеплом. Улыбалась женщина с ребёнком — серые губы. Смеялись подростки у фонтана — серые губы. Старик, читающий газету на скамейке, облизнул палец, переворачивая страницу, — и язык его был цвета мокрого асфальта.

Лера схватилась за горло. Мир сходил с ума. Вернее, мир оставался прежним — это она сходила с ума, или проклятие меняло саму реальность, а люди просто не замечали.

— Простите, — она тронула за рукав проходящую мимо девушку. — Скажите, какого цвета моя помада?

Девушка удивлённо посмотрела на неё, потом на её губы.

— Никакого, — пожала она плечами. — Вы не накрашены. Зачем вам помада? Это же просто жир.

— А закат? — не унималась Лера. — Вы видели сегодня закат?

— Серый был закат, — равнодушно ответила девушка. — А каким ему ещё быть?

Лера отпустила её рукав и попятилась. Девушка пошла дальше, даже не обернувшись. Для неё всё было в порядке. Мир не потерял красный — он просто никогда его не знал.

Следующие три дня слились для Леры в один бесконечный, мучительный кошмар.

На второй день после проклятия исчез оранжевый. Это случилось не сразу, не резко — Лера просто заметила, что перестала чувствовать тепло от чашки с чаем. Чай был горячим, пар поднимался над кружкой, но кожа ощущала только влажность, не тепло. Она поднесла руку к батарее — та работала, но ладонь не чувствовала согревающего жара, только сухость металла. Словно из мира убрали всё, что грело — не физически, а как-то глубже, на уровне души.

Потом она вышла на рынок и увидела апельсины. Они лежали на прилавке — большие, круглые, но абсолютно серые. Покупатели брали их, нюхали, клали в сумки — и никто не удивлялся.

— Попробуйте, — улыбнулась беззубым ртом торговка, протягивая Лере дольку. — Сладкие, как мёд.

Лера взяла дольку. На вид — серая плоть, похожая на варёный картон. Она положила в рот, ожидая вкуса золы, но... вкус был. Слабый, едва уловимый, сладковатый — но он был. Значит, проклятие не убивало суть вещей, а лишь забирало их цвет — и вместе с ним ту радость, которую цвет дарил. Апельсин всё ещё был съедобен. Но он больше не был праздником.

В тот же вечер она заметила, что смех детей во дворе звучит иначе. Она подошла к окну: дети играли в мяч, бегали, кричали — но их смех стал механическим, лишённым звона. Как будто они выполняли упражнение «изобразить радость», не чувствуя её внутри.

Оранжевый — цвет радости — ушёл.

Лера села за стол и попыталась нарисовать мандарин. Серый кружок на бумаге. Ни тепло, ни свет, ни намёк на то, что этот фрукт когда-то был похож на маленькое солнце. Она швырнула кисть в стену и разрыдалась.

А на утро пропал жёлтый.

С жёлтым миром стало совсем невыносимо. Если красный был кровью, а оранжевый — теплом, то жёлтый был светом. Не физическим — электрические лампочки работали исправно, — а светом надежды, светом утра, светом, который заставляет просыпаться с мыслью, что сегодня будет хороший день.

Теперь по утрам было просто... никак.

Лера стояла у окна и смотрела, как солнце поднимается над морем. Огромный белый диск, похожий на дыру в небе, из которой сочился безжизненный, стерильный свет. Ни золота, ни янтаря, ни мягкой желтизны рассвета. Только белое на сером.

Она включила настольную лампу — та зажглась, но свет её был таким же белым и холодным, как операционная. Лера поймала себя на мысли, что начинает забывать, каким был свет раньше. Помнила, что он был «другим», но каким именно? Тёплым? Что значит «тёплый свет»? Слова ещё держались в памяти, но образы — нет.

Город тем временем продолжал жить своей странной, обесцвеченной жизнью. Люди всё так же ходили на работу, пили кофе, целовались на прощание. Но в их движениях появилась какая-то скованность, будто они разучились быть спонтанными. Они делали всё «правильно», но без огонька. Механически.

Лера поняла, что больше не может сидеть сложа руки. Если жёлтый ушёл, следующим будет зелёный. А зелёный — это жизнь. Трава, листья, сама природа. Если он исчезнет, последствия будут катастрофическими — не только для неё, но и для всего города.

Нужно было найти того парня.

Но как? Она не знала ни его имени, ни адреса, ни даже толком не запомнила лица — только глаза, серые, как штормовое море, и голос, полный боли. В маленьком городе это было и преимуществом, и проклятием: с одной стороны, все друг друга знают, с другой — как описать человека, не называя имени?

Она решила начать с единственного места, где могла найти подсказку — с городской библиотеки.

Библиотека находилась в старом здании с облупившейся лепниной и вечно скрипящей дверью. Внутри пахло книжной пылью, временем и чем-то ещё — возможно, сушёными яблоками, которые библиотекарь, Аристарх Платонович, вечно жевал за своим столом.

Аристарху было далеко за семьдесят. Он носил очки с толстыми стёклами, вязаный жилет поверх рубашки и имел привычку говорить о книгах как о живых существах. Лера знала его с детства: именно он когда-то дал ей первый альбом по живописи, заметив, как девочка подолгу разглядывает иллюстрации.

— Лера, — обрадовался он, когда она вошла, но тут же нахмурился. — Ты бледная. То есть... — он замолчал, снял очки, протёр их, снова надел. — Странное слово. Я хотел сказать что-то другое.

— Бледная — это нормальное слово, — осторожно сказала Лера.

— Нет. — Аристарх покачал головой. — Я хотел сказать... какая-то ты... — он мучительно подбирал эпитет, шевеля губами. — Никакая. Вот. Никакая ты. А раньше была... — он снова замолчал, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на испуг. — Слушай, Лера, у меня последние дни какая-то ерунда с головой. Я слова забываю.

— Какие слова? — тихо спросила она, уже зная ответ.

— Ну, например... — он задумался, пожевал губами. — Вот ты утром просыпаешься, смотришь в окно, а там солнце. И оно такое... ну, приятное. Я хочу это описать, а слова нет. Вроде было слово, я точно помню, что было. А теперь — пустота. Как называется, когда солнце такое приятное?

— Тёплое? — подсказала Лера, и сердце её сжалось.

— Да нет же! — Аристарх досадливо махнул рукой. — Тёплое — это про температуру. А я про другое. Ну, когда свет такой... — он покрутил пальцами в воздухе, — как масло. И на душе хорошо. Было же такое слово!

— Золотой, — прошептала Лера. — Жёлтый. Солнечный.

Аристарх посмотрел на неё долгим взглядом.

— Точно, — сказал он медленно. — Были такие слова. А теперь я их говорю — и они пустые. Как будто я иностранный язык выучил, но никогда не видел того, что эти слова обозначают.

Лера опустила на стул. Вот оно. Проклятие работало тоньше, чем она думала. Оно не просто убирало цвета — оно стирало саму память о них. Люди не просто переставали видеть жёлтый; они переставали знать, что он существовал. И только те, кто был как-то связан с цветом глубоко, на уровне души — как старый библиотекарь, всю жизнь читавший стихи о закатах, — ещё смутно ощущали потерю.

— Аристарх Платонович, — сказала она, подавшись вперёд. — Мне нужна ваша помощь. Я ищу одного человека. Молодой парень, высокий, тёмные волосы, глаза серые. У него несколько дней назад погиб младший брат. Утонул. Вы не слышали ни о чём таком?

Аристарх снял очки и задумался. Он пожевал губами, потом подошёл к старому дубовому шкафу, где хранилась местная газета за последние годы.

— Утонул... — пробормотал он, перебирая подшивки. — Нет, в газетах о несчастных случаях на воде не писали последние пару месяцев... Хотя... — он замер, вытащил какой-то пожелтевший листок. — Вот. Год назад. «Трагедия на Песчаной косе: двенадцатилетний Даниил Соболев утонул во время купания. Спасатели прибыли слишком поздно. Старший брат, Марк Соболев, пытался спасти ребёнка, но не смог справиться с течением».

— Соболев, — повторила Лера, и по спине пробежал холодок. — Марк Соболев.

— Да, была такая история, — Аристарх покачал головой. — Громкая. Мать у них после этого... вроде бы уехала из города. Отец тоже. А старший остался. Говорили, что он сам не свой. Что заперся в доме и ни с кем не общается. Дом Соболевых — это на окраине, у Чёртовых скал. Знаешь, где старая мельница? Там ещё дорога разбитая, никто не ездит.

Лера знала. Заброшенная мельница стояла на отшибе, в месте, куда горожане ходили редко — разве что мальчишки, искавшие приключений, да рыбаки, считавшие, что у скал лучше клюёт. Дом Соболевых, видимо, был где-то там.

— Спасибо, — она встала, чувствуя, как внутри закипает смесь страха и решимости. — Вы мне очень помогли.

— Лера, — окликнул её Аристарх, когда она уже взялась за ручку двери. — Скажи... — он снова мучительно сморщил лоб. — Вот ты говоришь — жёлтый. Я слышу это слово и понимаю, что оно что-то значит. Но что? Что оно значит?

Лера обернулась. Старик смотрел на неё с надеждой и тоской — как ребёнок, забывший важный сон и умоляющий взрослого напомнить.

— Это цвет солнца, — тихо сказала она. — Цвет одуванчиков. Цвет цыплят. Цвет радости. Когда вы его вспомните — вы поймёте.

— Я записываю, — вдруг сказал Аристарх и показал ей толстую тетрадь в клеёночной обложке. — Я, знаешь ли, стал записывать. Всё подряд. Просыпаюсь утром, смотрю в окно — и пишу. Потому что чувствую: что-то уходит. Что-то важное. И я боюсь, что однажды проснусь и не вспомню, что оно вообще было. Вот, смотри.

Он протянул ей тетрадь. Лера открыла её и прочла на первой странице корявым, старческим почерком:

«Сегодня я забыл слово, которое обозначает цвет неба в ясный день. Помню, что оно было. Что оно делало меня счастливым. Но самого слова — нет. Вместо него — дыра. Если кто-то читает это — помогите мне вспомнить. Пожалуйста».

У Леры защипало в глазах. Значит, не только она. Значит, где-то в глубине души люди ещё помнят. Ещё сопротивляются.

— Я помогу, — сказала она твёрдо. — Обязательно помогу. А пока — записывайте всё. Каждый день. Это важно.

Она вернула тетрадь и вышла из библиотеки. В кармане лежал клочок бумаги с адресом, который Аристарх нацарапал ей на прощание. Дорога предстояла неблизкая — через весь город, к Чёртовым скалам.

С моря дул прохладный ветер — бесцветный, просто поток воздуха без запаха и вкуса. Небо было белёсым, трава на обочине — серой. Но Лера шла, сжимая в кулаке адрес, и внутри теплилась маленькая, колючая, но живая надежда.

Она найдёт Марка Соболева.

Она заставит его снять проклятие.

И она вернёт миру цвета — даже если для этого придётся заново научить одного человека видеть.

Глава 3. Дом на краю.

Дорога к Чёртовым скалам оказалась именно такой, какой её описывал Аристарх, — разбитой, заброшенной и бесконечно унылой. Старая мельница, давно лишившаяся крыльев, торчала на горизонте чёрным силуэтом, похожим на сломанный крест. Ветер с моря гнал по земле клочья серого тумана, и Лера то и дело куталась в кардиган, пытаясь удержать остатки тепла.

Она шла уже больше часа. Город остался далеко позади, растворился в белёсой дымке, и теперь вокруг не было ничего, кроме пожухлой травы, камней и шума прибоя где-то внизу, под обрывом. Море дышало тяжело, как большое усталое животное, и его дыхание отдавало солью и холодом.

Дом Соболевых показался внезапно. Он стоял на отшибе, в сотне метров от скал, и выглядел так, будто сам пытался спрятаться от мира. Двухэтажный, когда-то, наверное, крепкий и ладный, а теперь — с облупившейся краской на ставнях, с покосившимся крыльцом и трещиной в фундаменте. Сад вокруг дома зарос сорняками. Яблоня у крыльца стояла сухая, мёртвая, и её голые ветви царапали серое небо, как костлявые пальцы.

Лера остановилась у калитки, собираясь с духом. Сердце колотилось где-то в горле. Она не знала, что скажет, когда увидит его. «Здравствуй, ты проклял меня, и теперь мир теряет цвета»? «Привет, я передумала насчёт твоего брата»? Всё это звучало безумно даже у неё в голове.

Но выбора не было. Зелёный мог исчезнуть в любой момент.

Она толкнула калитку, и та отозвалась протяжным скрипом, резанувшим уши. Прошла по заросшей дорожке к крыльцу и уже подняла руку, чтобы постучать, когда дверь резкопахнулась сама.

На пороге стоял Марк.

Он был именно таким, каким она запомнила его в тот вечер: высокий, сутулый, в мятой серой футболке и старых джинсах. Тёмные волосы падали на лицо неопрятными прядями, а глаза — те самые глаза цвета штормового моря — смотрели на неё с холодным, тяжёлым удивлением.

— Ты, — сказал он глухо. Это был не вопрос.

— Я, — ответила Лера, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо. — Нужно поговорить.

— Не о чем нам говорить, — он попытался захлопнуть дверь, но Лера инстинктивно выставила вперёд ногу, и дверь ударилась о носок её ботинка. Острая боль пронзила стопу, но она не отступила.

— Ты проклял меня, — быстро проговорила она, пока он не предпринял новую попытку. — Ты тогда, в мастерской, сказал слова, и они сработали. Теперь цвета исчезают. Красный, оранжевый, жёлтый — их больше нет. Люди забывают, что они были. Я забываю. А когда исчезнет последний, всё станет серым навсегда. И это сделал ты.

Марк замер. Его рука, державшая дверь, чуть дрогнула. Он всмотрелся в лицо Леры, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на испуг — но лишь на мгновение. Потом лицо снова окаменело.

— Ты сумасшедшая, — сказал он без выражения. — Уходи.

— Посмотри на мир! — почти крикнула Лера. — Посмотри на небо, на траву, на свои руки! Ты видишь хоть что-то, кроме серого? Ты помнишь, как выглядит апельсин? Какого цвета было солнце вчера на закате?

— Закаты всегда серые, — отрезал Марк.

— Нет! — она схватила его за руку, заставив вздрогнуть. — Закаты были красными. Или розовыми. Или золотыми. Ты просто забыл! Проклятие стирает память, пойми! Ты сам не помнишь, что натворил!

Он выдернул руку и отступил на шаг. В глубине его глаз боролись злость и что-то ещё — возможно, тот самый страх, который он отчаянно пытался спрятать.

— Допустим, — медленно проговорил он. — Допустим, я что-то сказал тогда. Сгоряча. У меня брат погиб, если ты помнишь. Я был не в себе. Но ты правда веришь, что мои слова могли что-то... наколдовать? Это бред.

— Я художница, — тихо сказала Лера. — Мои картины оживают. Это факт. Об этом знает весь город. А теперь мои краски не работают. Красный ложится серым. Оранжевый — серым. Жёлтый — серым. Ты веришь в мой дар или нет?

Марк молчал. Он смотрел куда-то мимо неё, на серое небо, на серую траву, на серые камни, и в его лице что-то менялось — едва заметно, как трещина на стекле, которая только-только начала ползти.

— Зайди, — сказал он наконец и отступил в глубь дома. — Раз уж пришла.

Внутри дом Соболевых выглядел так, будто время здесь остановилось год назад — в тот самый день, когда погиб Даня. В прихожей, на вешалке, висела маленькая синяя куртка — детская, с капюшоном и нашивкой в виде кита. На полу стояли кроссовки двенадцатого размера — аккуратно, носок к носку, будто хозяин только что пришёл и разулся. На полке, среди прочей обуви, лежал резиновый мяч — ярко-синий, с белыми полосками.

Лера замерла, увидев его. Мяч был синим. Настоящим, живым, глубоким синим — в сером мире, где все цвета умерли.

— Это его мяч? — спросила она, сама не зная зачем.

Марк проследил за её взглядом, и лицо его дёрнулось.

— Угу, — буркнул он. — Данька с ним всё время играл. Даже спать с ним ложился, маленький дурачок.

Он произнёс «дурачок» с такой нежностью, что у Леры защемило сердце. Она поняла: мяч остался цветным, потому что Марк не забыл брата. Память о Дане была единственным, что держалось в этом доме крепче реальности.

Они прошли в гостиную. Здесь царил тот же застывший хаос: на столе — недопитая чашка с серым осадком на дне, на диване — плед, смятый так, будто кто-то только что встал. По

стенам были развешаны фотографии — много фотографий, и на всех один и тот же мальчик: вихрастый, с веснушками и широкой улыбкой, в которой не хватало одного переднего зуба.

— Садись, — Марк кивнул на диван, а сам остался стоять у окна, скрестив руки на груди. — Рассказывай.

И Лера рассказала. Всё: про сон с чёрной птицей, про слова проклятия, про то, как каждый день просыпается и видит мир всё более серым. Про апельсины без цвета, про детей, чей смех стал пустым, про библиотекаря, который записывает в тетрадь всё, что ещё помнит, потому что боится забыть.

Марк слушал молча. Когда она закончила, он долго смотрел в окно, за которым всё так же висело белое солнце, а потом вдруг сказал:

— Я не помню.

— Что не помнишь?

— Ничего такого, — он резко повернулся, и Лера увидела, что его глаза покраснели — не от слёз, а от какого-то внутреннего напряжения. — Ты говоришь — красный, оранжевый, жёлтый. Я слышу слова, но они пустые. Вот ты сказала «апельсин» — я помню вкус, помню, что мы ели их с Данькой на Новый год. Но какого он был цвета? — он развёл руками. — Никакого. Я смотрю на мяч в прихожей — Данька говорил «синий». Я помню это слово. Но что оно значит? Что такое «синий»?

— Ты помнишь слово, — тихо сказала Лера. — Это уже много. Большинство людей не помнят даже слов.

— Мне это не помогает! — выкрикнул Марк и со всей силы ударил кулаком по стене. Фотографии дрогнули. Одна из них — та, где Даня обнимал большую рыжую собаку, — упала на пол, и стекло треснуло. — Ты пришла сюда, чтобы сказать, что это я во всём виноват? Я знаю! Я всегда виноват! Я не спас брата — виноват! Я проклял тебя — виноват! Может, скажешь что-то новое?!

Лера вскочила с дивана. Страх прошёл — его место заняла злость.

— Да, ты виноват! — крикнула она в ответ. — Ты пришёл ко мне и потребовал невозможного! Ты проклял меня только за то, что я не стала нарушать закон, который старше нас обоих! А теперь весь мир теряет цвета, и люди забывают, что такое радость! И ты стоишь тут и жалеешь себя?!

— А ты пришла, чтобы потребовать снять проклятие и уйти! — рявкнул Марк. — Чтобы спасти себя, а не меня! Тебе плевать на меня, плевать на Даню! Ты просто хочешь вернуть свои краски и забыть, что я существую!

— Неправда! — Лера шагнула к нему, сжимая кулаки. — Я пришла, потому что это касается всех! Ты не понимаешь — когда пропадёт зелёный, начнут умирать растения. Когда пропадёт голубой — люди разучатся мечтать. А когда пропадёт всё — мир станет мёртвым! Ты этого хочешь?!

Они стояли друг напротив друга — двое разбитых, злых, отчаявшихся людей, разделённых всего лишь шагом, но на самом деле — пропастью из боли, которую каждый нёс в себе.

Первым отступил Марк. Он опустил плечи, отошёл к стене и медленно сполз по ней на пол. Закрыв лицо руками.

— Я не знаю, как это снять, — глухо сказал он. — Я не колдун. Я просто... я просто так злился. На себя. На Бога. На тебя — потому что ты была последней надеждой. А когда ты отказалась — я понял, что надежды больше нет. И сорвался.

Лера медленно опустилась на корточки рядом с ним.

— Слушай меня, — сказала она тихо. — Во сне птица сказала, что цвета вернутся, когда ты обретёшь мир в душе. Не когда я что-то исправлю. Не когда случится чудо. А когда ты, Марк Соболев, перестанешь терзать себя за то, что случилось с Даней.

Он отнял руки от лица и посмотрел на неё. В серых глазах стояла такая мука, что Лера едва не отшатнулась.

— Я не могу, — прошептал он. — Я не могу перестать. Каждый день я просыпаюсь и вижу его лицо. Я слышу, как он кричит. Я чувствую, как его пальцы выскальзывают из моей руки. Я должен был держать крепче. Я должен был нырнуть раньше. Я должен был...

— Ты сделал всё, что мог, — перебила Лера. — Ты пытался. Течение было сильнее.

— Откуда ты знаешь?!

— Потому что я тоже теряла, — она посмотрела на свои руки. — Моя мама. Она была художницей, как я. И однажды она нарисовала человека. Живого. Нарушила запрет. И знаешь, что случилось? Она умерла. А рисунок ожил, но это был не человек — это была пустая оболочка. Я была маленькой, но я помню. Я помню её глаза перед смертью — в них был ужас. Она сказала мне: «Никогда не рисуй живых, Лера. Никогда. Это не дар — это испытание».

Марк молчал. В тишине было слышно, как море бьётся о скалы, — размеренно, глухо, бесконечно.

— Я не знал, — наконец сказал он. — Про твою маму.

— Ты и не мог знать, — Лера поднялась. — Но теперь ты знаешь. Я не отказала тебе от бессердечия. Я отказала, потому что это убило бы меня и не вернуло бы Даню.

Марк встал вслед за ней. Что-то изменилось в выражении его лица — ушла враждебность, ушла стена, за которой он прятался. Осталась только усталость, глубокая, как само море.

— Допустим, — сказал он. — Допустим, проклятие — правда. Допустим, я должен... обрести мир. Но я не знаю как. Я пробовал — не получается. Я год сижу в этом доме, среди его вещей, и ничего не меняется. Только становится хуже.

— Может, поэтому и не получается? — осторожно спросила Лера. — Ты запер себя здесь вместе с чувством вины. Ты даже мяч его не выбросил. Ты живёшь прошлым.

— А ты предлагаешь выбросить? — в голосе Марка снова зазвенела угроза.

— Нет, — Лера покачала головой. — Я предлагаю сохранить, но перестать казнить себя каждую минуту. Даня бы не хотел, чтобы ты жил так.

Марк ничего не ответил. Он смотрел на разбитую фотографию на полу, и Лера заметила, как подрагивают его губы.

— Оставайся сегодня, — вдруг сказал он, не глядя на неё. — Уже поздно. До города далеко. Здесь есть гостевая комната. А завтра... — он запнулся. — Завтра придумаем что-нибудь. Если ты не боишься.

— Я не боюсь, — ответила Лера, хотя сердце всё ещё колотилось где-то у горла. — Завтра так завтра.

В доме на краю земли, где время остановилось год назад, они заключили хрупкое перемирие. За окном ветер гнал по серой траве клочья тумана, а в прихожей, на полке среди серой обуви, маленький синий мяч всё ещё хранил свой цвет — как последнее обещание того, что не всё потеряно.

Лера лежала в гостевой комнате, на кровати, застеленной прохладным, пахнущим пылью бельём, и смотрела в потолок. Где-то внизу, в гостиной, Марк не спал — она слышала его шаги, мерные, как ход метронома. Он ходил туда-сюда, и каждый шаг отдавался в половицах глухим стоном.

Она думала о завтрашнем дне. О том, что зелёный может исчезнуть в любую минуту. О том, что проклятие не снимется само собой, и её задача — не просто найти Марка, а помочь ему пройти путь, который она сама ещё не понимала до конца.

Где-то на границе сна и яви ей послышался шёпот — не то голос Марка, не то шум моря за окном, не то эхо её собственных мыслей: «Быть счастливым — это выбор».

Но пока это был всего лишь шёпот. До осознания было ещё далеко.

Глава 4. Жёлтый закат памяти.

Лера проснулась от тишины. Не от шума, не от света, не от холода — а именно от тишины, которая стояла в доме Соболевых, плотная, как вата. Было в ней что-то неправильное, тревожное, и Лера, ещё не открыв глаз, уже поняла: что-то случилось.

Она села на кровати и прислушалась. Тишина звенела. За окном не кричали чайки — а они всегда кричали по утрам, даже здесь, у Чёртовых скал. Не шумело море — хотя прибой должен был быть слышен с такого расстояния. Дом не скрипел, ветер не задувал в щели, и даже собственное дыхание казалось Лере приглушённым, будто она надела наушники из плотной ткани.

Она встала, подошла к окну и отёрнула занавеску.

Мир за стеклом был мёртв.

Нет, он не исчез, не провалился в небытие. Дом Соболевых всё так же стоял у края скал, трава всё так же росла (или делала вид, что растёт) на склоне, а вдалеке белела полоса прибоя. Но всё это было... плоским. Без глубины. Без теней. Словно кто-то вырезал пейзаж из серой бумаги и приклеил к стеклу.

Жёлтый ушёл. Она знала это ещё до того, как попыталась что-то нарисовать. Просто знала — так же, как знаешь, что заболеваешь, ещё до первых симптомов.

Лера натянула кардиган, вышла в коридор и спустилась по скрипучей лестнице в гостиную. Марк сидел на том же месте, где она оставила его вчера, — на полу у стены, спиной к окну. Он не спал. Глаза его были открыты и смотрели куда-то в пустоту.

— Жёлтый пропал, — сказала Лера вместо приветствия.

Марк медленно перевёл на неё взгляд. Под глазами у него залегли тени — тёмно-серые, почти чёрные, и Лера машинально отметила, что тени пока ещё есть. Значит, контрастность мира сохраняется. Значит, не все цвета ушли.

— Я знаю, — ответил он глухо. — Я проснулся час назад. Вышел на крыльцо. Солнце... — он запнулся, мучительно подбирая слово. — Оно было как больная луна. Белое и холодное. И я понял, что больше никогда не согреюсь.

— Это не навсегда, — сказала Лера, хотя сама не была в этом уверена. — Птица сказала: цвета вернутся, когда ты обретёшь мир.

— Ты повторяешь это как заклинание, — криво усмехнулся Марк. — Но оно не работает. Я не знаю, что такое «мир в душе». Я забыл. Может, я никогда и не знал.

Лера ничего не ответила. Она прошла на кухню, нашла чайник, включила его. Воды в кране не было — видимо, водопровод давно не работал, — но на плите стояла кастрюля с остатками дождевой воды. Она налила её в чайник и стала ждать, глядя, как белый пар поднимается к серому потолку.

Чай она заварила в двух чашках — тех самых, что стояли на столе, покрытые пылью. Одну протянула Марку. Он взял, сделал глоток, поморщился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.